



Владислав Отрошенко

Персона вне достоверности

«Автор»

2005

Отрошенко В. О.

Персона вне достоверности / В. О. Отрошенко — «Автор», 2005

ISBN 5-98359-040-X

Пространство и время, иллюзорность мира и сновидения, мировая история и смерть — вот основные темы книги "Персона вне достоверности". Читателю предстоит стать свидетелем феерических событий, в которых переплетаются вымысел и действительность, мистификация и достоверные факты. И хотя художественный мир писателя вовлекает в свою орбиту реалии необычные, а порой и экзотические, дух этого мира обладает общечеловеческими свойствами.

ISBN 5-98359-040-X

© Отрошенко В. О., 2005

© Автор, 2005

Содержание

I. Прощание с архивариусом	5
II. Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия	15
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Владислав Отрошенко

Персона вне достоверности

Пять повестей

I. Прощание с архивариусом

Краткое исследование издательской

деятельности Кутейникова

Оно существовало всего три месяца, это призрачное книгоиздательство С. Е. Кутейникова «Донской арсенал» на Атаманской улице. В мае оно выпустило две брошюры, в июле – тощую книжицу с помпезным шмуцтитлом и бесследно исчезло. В доме № 14, где оно размещалось, занимая весь первый этаж, пристройку и обширный подвал, в августе, как явствует из рекламного объявления в «Донских областных ведомостях», уже обосновалась французская фотография, оснащенная новейшими аппаратами из Парижа и предметами красочной амуниции средневековых армий Европы. («Жак Мишель де Ларсон увековечит Вашу наружность в романтической обстановке»). В сентябре владелец фотографии поместил в той же газете гневное уведомление, в котором говорилось, что он не имеет ни малейшего понятия об издательстве «Донской арсенал» и что он просит г. г. агентов книжной торговли оставить в покое его заведение и впредь не обращаться к нему с расспросами, где им разыскивать некоего г-на Кутейникова, которого, может статься, вообще не существует в действительности. «Что же касается почтеннейшей публики, – добавлял де Ларсон аккуратным петитом, – то заведение Жака Мишеля на Атаманской, 14 открыто для нее во все дни недели, за исключением вторника. Для желающих преобразить свою внешность имеются накладные усы и бороды из театральных мастерских Амстердама».

Книгоиздатель С. Е. Кутейников откликнулся на это уведомление оригинальным способом. Рождественский номер «Коммерческого вестника» Общества торговых казаков вышел с его портретом. «Мсье Жак, – гласила витиеватая подпись, —

дабы рассеять Ваши сомнения относительно моего натурального пребывания в этом исполненном всяческой жизни, блистательно-сказочном мире и доказать Вам со всей очевидностью, что я не плод воображения г. г. агентов книжной торговли, я помещаю здесь свою фотографию, сработанную на Атаманской, 14. Ваш настырный ассистент уговорил-таки меня, как видите, вооружиться датским мечом и даже наклеить за гривенник Ваши поганые усы из Амстердама. Однако же я надеюсь, что это маленькое фиגлярство, на которое я решился благодаря озорной минуте и веселому повороту мысли, не помешает моим компаньонам и многим почтенным торговцам узнать меня на портрете и не судить строго книгоиздателя С. Е. Кутейникова, честь имеющего поздравить всех коммерсантов Области войска Донского с Рождеством Христовым!»

В феврале 1912 года С. Е. Кутейников вновь дал о себе знать. «Озорная минута», выхваченная им из будничного потока времени перед Рождеством, продлилась до Сретения, а «веселый поворот мысли» завел его, вероятно, так далеко, что он уже не мог остановиться на полпути. Словом, он решил продолжить газетную баталию с Жаком Мишелем.

После того, как последний напечатал в газете «Юг»¹ грозный ультиматум, в котором он потребовал, чтобы г-н Кутейников, независимо от того, существует он или нет, публично извинился за свою рождественскую выходку, ущемляющую коммерческие интересы его заведения, – «в противном случае, – писал уязвленный француз, – я принужден буду обратиться в окружной суд, с тем чтобы он взыскал нанесенный мне ущерб либо с таинственного издателя, либо с «Коммерческого вестника», потакающего небезобидному ерничеству этого фантастического субъекта», – Кутейников поместил во всех новочеркасских газетах, за исключением «Донских епархиальных ведомостей» и «Вестника казачьей артиллерии», объявление довольно странного, если не сказать немислимого, содержания:

«Книгоиздатель С. Е. Кутейников сообщает, что в силу неведомых нарушений в извечном миропорядке поколебалась привычная однозначность земного пространства, занятого домом № 14 по Атаманской улице, где обретається и будет обретається вплоть до 1915 года издательство «Донской арсенал». Каким-то непостижимым способом сюда внедрился фотографический мастер Жак Мишель де Ларсон, чье назойливое заведение в этом месте и в это время,² на взгляд издательства, не более чем фантазия и пыль. Удивительно, что то же самое утверждает и г-н Ларсон относительно издательства «Донской арсенал», которое готовит в настоящее время дополнительный тираж «Исторических разысканий Евлампия Харитонов о походе казаков на Индию». То обстоятельство, что при нынешнем обороте действительности заведение г-на Ларсона обладает, по всей вероятности, в большей степени счастливым качеством зримости, никоим образом не отразится на превосходной внешности наших книг, для которых уже закуплена отличная и вполне ощутимая бумага фабрики «Токгаузен и КО» в Екатеринодаре».

Какое впечатление произвело на француза это объявление, неизвестно. Известно только, что войсковой атаман Павел Иванович Мищенко на своем экземпляре «Гражданских новостей» (он получал их в 7.30 утра) прямо на объявлении Кутейникова написал огромными буквами, синим карандашом «Тю!!!» и послал на Атаманскую, 14 дежурного вахмистра с конным отрядом.

Разумеется, никакого издательства ни в доме № 14, ни в соседних домах вахмистр не нашел. В рапорте атаману он, однако же, доложил, что ему «удалось обнаружить некоторую невразумительность в ехидной фигуре француза Ж. М. де Ларсона, которая производит на Атаманской, 14 фотографические портреты лиц всех сословий, сама же на себе никакого устойчивого лица не имеет и может представиться в натуральном виде не только что французским фузилером, но даже хорошенечкой маркитанткой. А так как означенный дом совершенно дьявольским образом погрузился в обманчивость сгинувшей жизни и невозможных времен, то и

¹ С ноября 1911 по январь 1912 года две газеты Области войска Донского носили название «Юг». Одна – в Ростове-на-Дону, издаваемая Мином Иличом Балабановым, другая – в Новочеркаске, учрежденная Ассоциацией немецких аптекарей (издатели Роллер и Фреттиг). Известно, что Балабанов неоднократно просил аптекарей, чтобы они изменили название своей газеты, но те всякий раз отвечали отказом, предлагая ему решить спор на юридическом основании. Балабанов, без сомнения, выиграл бы судебный процесс, так как его газета – бывш. «Донская пчела» – имела название «Юг» с 1893 года. Однако же он предпочел официальным решениям частное лихачество. Он выкупил у аптекарей право издания, выпустил, не меняя названия, три номера (в одном из них напечатал свое объявление Жак Мишель) и закрыл газету. И все это, очевидно, Балабанов проделал лишь для того, чтобы затем заявить в своем «Юге» на первой полосе, что «случайно возникший из склянки и во всем подобный эфиру аптекарский «Юг» в Новочеркаске улетучился к дьяволу!» (Здесь и далее – прим. автора).

² Слова «в этом месте и в это время» набраны во всех газетах цитеро. «Буквы сего шрифта, – как замечает преисполненный совершенно неуместной поэтичности «Карманный словарь наборщика» (Новочеркасск, 1904.), – выглядят на фоне петита или бисерной нонпарели громоздкими жуками, угодившими в муравьиный плен».

фигура упомянутой маркитантки <...>» Впрочем, нет нужды цитировать далее этот нелепый рапорт: вахмистр, согласно донесению караульного сотника, сочинял его «уже сильно нетрезвый», на гауптвахте, в бакенбардах а-ля Франц Иосиф, в которых он сфотографировался у Жака Мишеля и в которых ездил все утро по городу, разыскивая, как он всем говорил не без гордости, «демоническое издательство inferнального свойства», пока наконец не взят был под стражу в ресторации Фридриха Брутца на углу Скородумовской и Московской. Заслуживают большего внимания вполне достоверные, хотя и растворенные в бравурной риторике сведения,³ что заведение Жака Мишеля посетил в тот же день (то есть 2 февраля по старому стилю) и сам войсковой атаман; нагрянув поздно вечером на штабном автомобиле в сопровождении двух адъютантов по гражданской части, окружного квартирмейстера и целой свиты верховых офицеров, весело гарцевавших с оголенными шашками по обе стороны невозмутимого «Руссо-Балта», всполошившего певучим клаксоном всю улицу, он тщательно осмотрел сначала снаружи (обойдя его дважды), а затем изнутри таинственный дом (принадлежавший, впрочем, Обществу взаимных кредитов), спустился в подвал, заглянул во флигель, похвалил Жака Мишеля за прилежное содержание арендованных помещений и уехал, купив у него фламанскую гвизарму для своей оружейной коллекции.

Наутро чиновник особых поручений атаманской канцелярии доставил Жаку Мишелю пакет, в котором находились бакенбарды, снятые с вахмистра в «освежительной камере», и предписание начальника интендантского отдела войскового штаба, обязывающее всех держателей фотографических салонов, действующих на территории Области войска Донского, выполнять следующие требования:

- «1. Фотографировать рядовых и приказных казаков, унтер- и обер-офицеров, а равно и штаб-офицеров казачьих войск только с имеющимся у них уставным оружием и в принадлежащих их званию мундирах.
2. Исключить из процедуры фотографирования наклеивание усов, бровей и проч. лицевой растительности, дабы всякий военный чин, действительный или отставной, а также свободный от военной службы казак имел на портрете свой собственный, Богоданный вид.
3. Изъять из употребления в фотографических целях бутафорские либо подлинные вещи, относящиеся к военному быту иноземных армий любых времен.
4. Не изображать посетителей – как военных, так и гражданских – в виду полотен и ширм, рисующих вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства.

Всякий фотографический мастер, нарушающий эти требования, будет оштрафован первоначально на сумму в 200 руб. ассигн. в пользу войсковой казны, а при повторном нарушении выдворен за пределы Области войска Донского».

Можно представить, в какое отчаяние повергло это неожиданное предписание изобретательного француза, сумевшего поставить свое дело так, что в городе закрылась, не выдержав с ним конкуренции, старейшая фотография Кикиани и Маслова. (Гигантский бердыш, который они повесили в витрине, и обещание фотографировать в стрелецких кафтанах не прельстили

³ См.: «Хроника всех торжественных, ординарных и частных выездов 23-го наказного атамана войска Донского Павла Ивановича Мищенко на четырехцилиндровом автомобиле Русско-Балтийского завода, подаренном войсковому штабу Великим князем Николаем Николаевичем в ознаменование 5-й годовщины героического кавалерийского рейда казаков на Инкоу», – «Донская дельта», 1913, № 86. Подпись – «Механик», С. М. Краснов (?).

своенравную публику.) Отчаяние побудило Жака Мишеля немедленно рассчитаться с ненавистным ему издателем, беззаботно кружившим неуязвимым газетно-бумажным призраком над Атаманской, 14. Решив исполнить свое намерение, о котором он заявил в аптекарском «Юге», он уже нанял адвокатов, сочинил с ними иск против Кутейникова и изготовился к бою, как вдруг получил записку от есаула гвардии, адъютанта по гражданской части, князя Степана Андреевича Черкесова. Написанная орешковыми чернилами,⁴ какие тогда уже не водились в канцеляриях, и вложенная в обычный, без войскового герба, конверт, записка была, несомненно, приватной и даже в некоторых местах шутливой, но вместе с тем она не могла не остудить сутяжнический пыл Жака Мишеля.

Адъютант сообщал ему, что войсковое начальство не оставило без внимания возникшее между ним и Кутейниковым недоразумение. «Мне поручено разобраться в этом деле, – писал Черкесов, – однако же без того, чтобы притеснять кого-либо из вас. Речь идет о личном интересе атамана к Вашим таинственным контрам с Кутейниковым. Павел Иванович полагает, что за ними кроется нечто чрезвычайное. Скажу Вам более, он вполне допускает возможность, что Кутейников вовсе не шутит в своих последних объявлениях. Надеюсь, Вы не станете расценивать это мое сообщение Вам как требование не предпринимать никаких шагов против Кутейникова. Упаси Вас Бог так истолковать мои слова! Я хочу лишь дать Вам сугубо житейский и вполне дружеский совет – не раздувать скандала и по возможности относиться терпимо ко всяким причудам г-на издателя, батюшка которого, Ефрем Афанасьевич, служивший у нас каптенармусом, а при Самсонове ведавший аж войсковым арсеналом! был тоже небезызвестный шутник и фанфарон. Представьте себе, запугал однажды лейб-трубачей Государя, ехавших на Кавказ, какими-то невообразимыми разбойниками, которые будто бы не боятся пуль, а только трепещут в мистическом ужасе перед всякими топорами, кои имеют форму священного для них полумесяца; потом вооружил их, шельма, с самым серьезным видом – с расписками и наставлениями – бомбардирскими алебардами, валявшимися в кордегардии Бог знает с каких времен, да еще отписал атаману в отчете: «Сие ободряющее оружие выдано доблестным музыкантам Его Величества как наилучшее, по их разумению, для устрашения злонамеренных горцев», – говорят, что Самсонов смеялся до слез, хоть и отдал прохвоста под трибунал... Надеюсь также, м-е Ларсон, что вы не усомнитесь в полезности моего совета. Разумеется, Вы вольны пренебречь им и руководствоваться собственными соображениями, в том числе и соображениями коммерческой выгоды. Но если уж речь здесь зашла о выгоде, то я хотел бы заметить Вам, что Вы обязаны в некотором роде нынешним процветанием Вашей фотографии именно г-ну Кутейникову. Шутит он или нет, но он привлек всеобщее внимание к Атаманской, 14, а стало быть, и к Вашему заведению. Публика, и в особенности гражданская, падкая до всякой загадочности, атакует Вас с утра до вечера, и Вы, как я слышал, уже едва справляетесь с заказами. Не думаю, чтобы Вас при таком обороте дела серьезно смущало то обстоятельство, что в обиходе Вашу фотографию стали называть «кутейниковскою», тем более что Вы и сами приложили к тому немало усилий. Я недавно проезжал по Атаманской и видел у Вас в витрине – я не мог ошибиться! – огромный портрет Кутейникова в усах и с моноклем. Более того, у меня есть сведения, что Вы скупили в магазине Сущенкова все книги, выпущенные «Донским арсеналом», и, пользуясь случаем, продаете их своим посетителям по довольно высокой цене, – те экземпляры «Исторических разысканий Евлампия Харитонova о походе казаков на Индию», на которых Ваш ассистент умело подделал дату и которые выдаются за тот самый мифический

⁴ При свете солнца и низкой влажности они выцветают быстрее, чем ализариновые; иногда оставляют исследователям лишь золотистые искорки – нетленную, но, увы, уже молчаливую душу слов. Зато в сырости, как утверждают специалисты, эти чернила из отвара цидий приобретают удивительную стойкость! Один лукавый старик... впрочем, опытный архивариус, помогавший мне советом и делом, сказал как-то раз в беседе за чаем: «Если бы не сырой подвал, – он указал мельхиоровой ложечкой в сторону Атаманской (ныне Советской), где была обнаружена в 1969 г. во время строительных работ записка Черкесова, – то вам, сударь, вероятно, пришлось бы выдумывать сей документ».

«дополнительный тираж», якобы уже выпущенный Кутейниковым, – где-то Бог его знает где, в чудодейной незримости, – идут по 15 руб., не так ли? Впрочем, меня это не касается. Как должностное лицо я могу указать Вам только на то, что Вы уже целый месяц нарушаете 4-й пункт предписания начальника интендантского отдела войскового штаба. Имейте в виду, он человек проворный и неумолимый. Даже интерес атамана к Вашей персоне не помешает ему выдворить Вас, к примеру, в Воронежскую губернию, где порядки мягче, но климат суровее да и коммерция не столь оживленная, как в нашей благословенной столице!

Марта 6-го с. г. Атамана войска Донского адъютант по гражданской части кн. Черкесов».

* * *

Строго говоря, фотограф де Ларсон вовсе не нарушал 4-го пункта предписания начальника интендантского отдела войскового штаба, как на то указывал ему адъютант Черкесов. Полотна и ширмы, «рисующие вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства», он незамедлительно убрал. И заменил их другими. Они являли собою, как пишет журнал «Фотографический курень» (№ 4, 1912), «нечто вроде постраничных иллюстраций к нелепейшим «Историческим разысканиям Евлампия Харитонов о походе казаков на Индию», кои выпустил в прошлом году в своем скандально известном, хотя и лопнувшем как мыльный пузырь «Донском арсенале» г-н Кутейников». Именно эти ширмы и имел в виду адъютант, запугивая француза колючими январями и знойными комариными июлями Воронежской губернии, скучающей в глубине континента. Однако же дело обстояло так, что использование этих ширм, которые приносили де Ларсону фантастический доход («Шутка ли сказать, – писал язвительный корреспондент «Фотографического куреня», – обыватели выстраиваются в очередь и платят, не задумываясь, по десяти рублей только за то, чтобы просунуть свои физиономии в овальные прорезы и стать таким образом воображаемыми участниками каких-то невозможных в истории и по виду довольно разнузданных сцен, вроде переправы казаков через Инд и прочей глупости! Куда же смотрит наше войсковое начальство, которое якобы так печется о пуританстве в фотографическом деле, издавая при этом, к слову сказать, уморительные указы!»), не противоречило 4-му пункту предписания. О походе казаков на Индию нельзя было сказать, что он является вымышленным, так же как нельзя было отрицать, что в нем принимало участие сорок донских полков – двадцать три тысячи присягнувших на верность российскому престолу казаков и казачьих офицеров. Поход, предпринятый по приказу императора Павла Петровича, которым вдруг овладела в неистребимой сырости Михайловского замка, окутанного петербургскими выюгами, пылкая, согревающая его мечта завоевать колонию Англии, щедро осыпанную лучами солнца, огнепалимую Индию, начался 27 февраля 1801 года. В два часа пополудни, после того как в войсковом Воскресенском соборе Старого Черкаска была отслужена торжественная литургия, а затем прочитан на Ратной площади у церкви Преображения напутственный молебен, авангард из тринадцати полков, возглавляемый походным атаманом генералом Матвеем Платовым, двинулся на восток. За ним, выдержав первоначальную дистанцию в десять верст, вышли артиллерийские полки, потянулись обозы, нагруженные провиантом, свинцом, фуражом, порохом, ядрами, стругами, и, наконец, уже в сумерках пределы города покинул конный арьергард...

Жак Мишель де Ларсон, как иностранец, да к тому же еще человек гражданский, вовсе не обязан был знать, что поход казаков на Индию завершился утром 24 марта того же года в каком-то Богом забытом хуторе на юго-востоке Оренбургской губернии. В качестве оправдательного документа, подтверждающего историческую достоверность сцен, изображенных на его ширмах, он мог выставить (да и выставлял в буквальном смысле – прямо в витрине) книгу,

выпущенную Кутейниковым, который отважился заявить в предисловии, что он несет «полную ответственность за это издание, так как автор, отставной подъесаул Евлампий Макарович Харитонов,⁵ скончался в станице Покровской, не успев подписать формального согласия на публикацию своих разысканий».

Француз не обязан был знать и того, что источники, которые цитировались в этом сочинении, были (на взгляд любого – даже не очень-то разборчивого – профессора) в высшей степени сомнительными: какие-то «бутанские рукописи» начала XIX столетия, якобы переведенные автором с языка бхотия (тибето-бирманская группа), всевозможные «записки» разноязыких путешественников, колесивших в 1801 году по Азии и видевших казацкие дружины кто в Персии, кто на склонах Каракорума, «походные дневники старшин» и прочие «свидетельства», неизвестно как и где добытые любознательным подъесаулом. Жаку Мишелю достаточно было того, что в «Разысканиях», которые были написаны, как уверял издатель, «на основании новых и весьма достоверных сведений», утверждалось, будто «донской Бонапарт» – так называл Харитонов генерала Матвея Платова – довел казацкие полки до заснеженных Гималаев, а не до оренбургских степей, «как то считалось ранее». «Весь поход, – говорилось на 29-й странице, – завершился блестяще – в полном соответствии с замыслом Императора Павла, который вовсе не думал завоевывать Индию, а только хотел казацкими шашками пригрозить с Гималайских вершин зазнавшейся Англии». (На ширме Жака Мишеля – как видно из иллюстрации в «Фотографическом курене» – это изображалось так: казаки, сбившись в кучку на острие горного пика, окутанного облаками, браво размахивают шашками, палят из фузелей и штуцеров, а на них с ужасом взирает, высунувшись по пояс из окошка Букингемского дворца, Георг III.) Далее, на страницах 44–53, Евлампий Макарович подробно рассказывает о том, как какой-то «седой старшина в епанче» уговорил атамана Платова не поворачивать полки назад по повелению нового императора Александра Павловича, а выполнять приказ – предыдущего, скоростижно скончавшегося в ночь с 11 на 12 марта Павла Петровича. «Потому что смерть приказавшего, – сказал седой старшина, – не отменяет его приказа. И в этом, ваше превосходительство, весь смысл воинской доблести». Спустя две страницы отставной подъесаул, видимо, спохватившись, сообразив, что этого седого старшину за таковые глаголы генерал Платов скорее всего одел бы в кандалы, выдвигает на всякий случай и другую версию. Авангард (теперь уже только авангард) из тринадцати полков продолжил поход на Индию потому, что гонец от генерала Орлова, командовавшего арьергардом и получившего пакет из Петербурга, не доскакал до генерала Платова, «уже зело углубившегося в восточные владения России», – погиб в степи. И доблестный генерал Платов так и не узнал, что юный Александр, «жалуя казаков отчими домами», повелевает прекратить поход на лучезарную Индию, затеянный его родителем...

Словом, весь смысл книги сводился к тому, что поход – по мнению немногочисленных его тогдашних исследователей, самый бесславный в истории войска Донского, – был блестящим и славным. Конечно же, ничего дурного не было в этом стремлении отставного подъесаула представить поход вопреки всему в лучшем виде. Быть может, Евлампий Макарович, если он действительно жил на свете, если его не выдумал г-н Кутейников, сам участвовал в этом походе (Кутейников пишет в предисловии, что он умер в возрасте 132 лет), и он, быть может, всю свою долгую жизнь таил обиду и на императора Павла, пославшего его в этот (впоследствии всеми забытый) экспедицион, и на императора Александра, не давшего ему помахать шашкой на Гималайских вершинах. И от обиды выдумал книгу – написал ее перед смертью, сидя с пером, в очечках и бурках, под крышей какого-нибудь древнего куренька. Так обстояло

⁵ В списках отставных обер-офицеров войска Донского, получавших пенсион в 1900–1911 гг., Е. М. Харитонova нет. Никаких сведений о нем не удалось обнаружить и в других источниках, так же как и об авторах майских брошюр «Донского арсенала»: Степане Харузине («Великие тамбурмажоры») и Павле Туркине («Тайны жалонёрского искусства»).

дело или иначе, ясно одно: сочинение подъясула скорее всего осталось бы незамеченным. В отчетах Общества распространения полезных книг в Области войска Донского за 1911 год оно отнесено к разряду «частных исторических экскурсов отставных военных чинов, кои на сегодняшний день не пользуются спросом». Однако недоразумение, возникшее между издателем и фотографом, или, как выражались газетчики, «дело о раздвоении Атаманской, 14» (о том, что оно негласно расследуется гражданским адъютантом, знал, разумеется, весь город), вывело «Исторические разыскания Евлампия Харитонов...» спустя несколько месяцев и на целых три года в разряд книг «наиболее читаемых, хотя и малополезных».

* * *

В июле 1912 года новочеркасский корреспондент балабановского «Юга», ссылаясь на «весьма осведомленное лицо из войсковой канцелярии», сообщил, что адъютант Черкесов, якобы имеющий на руках сенсационные факты, связанные с Атаманской, 14, готовит специальный рапорт атаману по этому делу. «Не исключено, – говорилось в заметке, – что вскоре мы получим от того же лица кое-какие сведения о содержании рапорта и узнаем таким образом, каково живет г-ну Кутейникову в том запредельном мире, откуда он нам посылает свои шутовские весточки и баснословные тиражи».

Это было последнее печатное упоминание о донском книгоиздателе С. Е. Кутейникове.

Никакого специального рапорта атаману адъютант Черкесов, судя по всему, не писал – во всяком случае, обнаружить этот рапорт или хотя бы найти сообщения о нем более достоверные, нежели в балабановском «Юге», не удалось, – и потому последним рукописным источником, содержащим сведения о Кутейникове, можно считать датированное 20 августа 1912 года письмо Черкесова к дочери, жившей тогда в Петербурге в гостинице Главного управления казачьих войск на Караванной.⁶ За исключением половины первой и двух последних страниц, оно посвящено издателю, но так как на пяти страницах князь сообщает уже известные факты, целесообразно будет процитировать его со середины шестой:

«<...> Что до меня, Анята, то я не нахожу здесь ничего, кроме философических шалостей г-на Кутейникова, который, как мне стало известно, проповедует повсюду и в разном виде, добравшись даже до газет, довольно странные воззрения на феномен времени. Он полагает, что времени как такового не существует вовсе. Пытался в этом убедить и меня (я разговаривал с ним еще весною по телефону: сам телефонировал мне в штаб). То есть, Анята, он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное Настоящее, или, как он излагает, Настоящее настоящего, Настоящее прошлого и Настоящее будущего. Между ними, по его разумению, не существует решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, но и люди, события, действия обладают божественным свойством неистощивости. Все есть, как есть, и все есть всегда: никогда не начинало быть, пребывало вечно и не перейдет во веки веков. Когда он пытался внушить эту мысль редактору «Епархиальных ведомостей» (он и там хотел поместить свое нашумевшее объявление, которое я тебе посылаю), ему указали на Книгу Бытия, а потом на дверь... Да вот и я думаю, Анята, разве не было Начала, разве не было Сотворения Мира и разве не будет Конца?.. Но послушай, что говорит далее этот г-н Кутейников: несовершенный человеческий разум, уязвленный бессмысленным страхом смерти и охваченный непрерывной текучестью

⁶ Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность и желаю всяческих благ и поныне здравствующей княжне Анне Степановне Черкесовой, приславшей мне из Люксембурга (где она содержит крохотный и трогательный музей стеклянных бомбилаток!) фотокопию этого письма. А также искренне благодарю ее бывш. гувернантку Екатерину Павловну Мандрыкину, которая сочла возможным поручиться за меня в письме к княжне, сообщив ей, что я в своем «частном и несколько мечтательном изыскании о каком-то старинном издателе» вовсе не преследую «побочной цели как-нибудь очернить или представить превратно деятельность Степана Андреевича на посту гражданского адъютанта».

чувств, возмнил, что он движется в океане этого неизбежного Настоящего, да еще в некотором направлении – от прошлого к будущему. Наподобие тусклого светильника он, т. е. разум, высвечивает ничтожное пятнышко света на поверхности необозримого океана Времени и не видит весь *круг* своего бытия, составленный из мириад этих светящихся пятнышек, слитых воедино. Мрак неведения скрывает от человека восхитительную полноту его бесконечной и безначальной жизни, и оттого он полагает, что жалкое пятнышко света – драгоценное здесь-и-теперь – и есть его печально-желанный удел, что только в нем, лучезарном и зыбком, исчезающем постоянно, он существует весь целиком. Эта безумная вера в мимолетность настоящего мгновения и есть, по словам Кутейникова, наказание Господа за грехопадение прародителей. Но Господь милосерден, Он наделяет некоторых Своих детей первоначальным зрением. И вот, Анята, представь себе, Кутейников утверждает, что он не только исполнился Божественного видения мира, развернутого в вечном Настоящем, но и обрел упоительную способность находиться по собственному разумению и с ясным сознанием как во всем *круге* своего бытия, так и в любой его отдельно взятой точке. Он уверял меня, что он разговаривает со мною по телефону из 1915 года и что только теперь, или тогда? или как тут еще сказать, Анята? словом, там, в 1915 году, он закрывает свое издательство, освобождая французу Атаманскую, 14. Когда же я ему сказал, что здесь, у нас, в 1912 году француз собирается с ним судиться, он ответил равнодушно:

– Если вы ему помешаете, князь, вы сделаете богоугодное дело. Этого суда не должно быть в извечном миропорядке. Так же как и французского заведения на Атаманской, 14 не должно быть до 1915 года. А то, что оно у вас там существует, – это досадное недоразумение. Когда-нибудь, князь, всё станет на свои места.

Он говорил мне, Анята, что он переживает в своей жизни одновременно всё – и тяжелое ранение под ключицу на какой-то великой войне, за-ради которой он теперь там бросает свое издательство, и первые младенческие шаги по лоснящемуся паркету в доме своего батюшки на Кадетской, и предсмертные судороги в Люксембурге, где он будет, или, выражаясь его невозможным языком, *есть* похоронен в 1927 году. Да еще – ты только подумай – рядом со мною! Говорит, будто мы будем жить с тобой в Люксембурге и будто бы там я умру, и даже не умру своей смертью, а эдак вычурно застрелюсь – на публике, в ухо – от тоски по нашим донским раздольям. И что же это мы будем искать там, в Великом Герцогстве? А? Воевать его будем? Или выйдет какое-нибудь назначение? Что же, Анята, поедem. А затоскуем, напишем рапорт атаману – так, мол, и так, возвращай нас на Дон... Что, нагнал я на тебя грусти, петербургская стрекоза? Да ты не слушай меня, старого дурака, шучу я. Потому как скучаю. Лето уже на исходе. Скоро ли ты приедешь<...>»

* * *

Из окон дома архивариуса на бывшей Кавказской улице хорошо видна Александровская церковь. В те дни, когда старик забывает ходить на работу, а такое с ним происходит часто, ибо с некоторых пор он перестал ощущать, как он сам выражается, «изменчивость пейзажей по берегам временного потока», то есть может доплыть нечувствительно, с каким-нибудь майским деньком в голове до середины июля, он сидит у окна, смотрит на Александровскую церковь, мечтает: не отвяжет ли какой-нибудь хлопотливый ангел воздушного змея, зацепившегося за крест; не упорхнет ли вслед за летучими облаками сиреневый куст, выпроставшийся из-под купола. Хорошо, если исследователь свел знакомство с архивариусом именно в такие, слитые для него воедино, неосязаемые дни. Память Кузьмы Ильича благодаря неизменному впечатлению (ангелы праздны, а куст неподвижен) оживает до чрезвычайности. Он может вспомнить неожиданно какой-нибудь редкий источник, исполненный сведений о предмете, который казался тебе столь зыбким, столь безнадежно забытым, а иногда и просто эфемерным, что ты

готов был уже отказаться от притязаний на сладкое право быть его первым исследователем; может указать безошибочно номер архивной описи, включающей некую единицу хранения – вожделенный документ, без которого шатки и крайне сомнительны все твои построения и который являлся тебе лишь в осторожных фантазиях. Плата за эти поистине неоценимые услуги Кузьмы Ильича невелика – упомянуть его в примечаниях, поблагодарить в скобках, сослаться на него в комментариях. Многие исследователи обещают ему это с большой горячностью. Но потом, как правило, бессовестно обманывают старика. Ни в статьях, ни в обширных докладах (иногда целиком построенных на драгоценных сведениях, извлеченных в тягучие сонные дни из его ободрившейся памяти) не уделяют ему ни единого слова. Кузьма Ильич, конечно же, не знает об этом. А если бы и узнал, то скорее всего не обиделся бы на забывчивых щелкоперов. Во всяком случае, он не стал бы скандалить с ними так увлеченно и пылко, как он скандалит с гонцами из архива, которых к нему посылают время от времени, чтобы как-нибудь – часто обманом – залучить его на работу.

– Да вы, сударь, в своем ли уме! – кричит он солидному усачу в ядовито-оранжевой строительной каске, представившемуся прорабом. – Вы что же это, за дурака меня держите, а?! Бумаги... он раскопал бумаги! Да я вас сразу узнал. Вы из отдела копирования. Ваша фамилия Петряков!

– Не Петряков. Петрянов. – Усач смущенно снимает каску. – Надо бы на работу, Кузьма Ильич. Работать. Ра-бо-тать, – выговаривает он отчетливо, как будто бы изъясняется с иностранцем.

– Вот то-то и наработали, – отзывается архивариус. – Небось бульдозером воротили?!

– Это как же... то есть... Кузьма Ильич?

– Молчать! Молчать! Ваш брат всегда норовит – бульдозером. А бумага вещь нежная, прихотливая... Что, если архив генерала Богаевского! а? Он, кажется, жил одно время на Свердлова, то бишь, дьявол вас разорви! на Горбатой... Какой вы там дом ломали?.. Нумер! Нумер скажите! – восклицает он возбужденно. И уже невозможно понять – то ли Кузьма Ильич доигрывает (в отместку? из баловства?) прерванный им же спектакль, то ли действительно каким-то странным образом принимает все ж таки за прораба уже опознанного было гонца.

Гонец, предмет его постоянной бдительности и веселой ненависти, чудится ему во всяком, кто появляется в доме без предупреждения. Помнится, при первой нашей встрече он как-то чересчур уж бодро соскочил со стула, подбежал ко мне и, нацелив оба указательных пальца в мою бороду, радостно закричал:

– Приклеили! Приклеили! А я вас сразу узнал. Вы Соколов! Вентиляторщик! Как вам не стыдно...

Спустя две недели, когда наша работа с Кузьмой Ильичом была в самом разгаре, когда он, пребывая неотлучно у излюбленного им окна (с хрустальным изломанным лучиком трещины в наружном стекле), уже цитировал с ходу необходимые мне материалы из старорежимных газет, припоминая даже, каким кеглем они были набраны, вентиляторщик – то есть, конечно, не вентиляторщик, а инженер технической службы архива, – по фамилии Соколенко действительно заявился. Его отчаянный вид и намеренно путаное сообщение о какой-то ужасной аварии (то ли случился обвал? то ли прорвало трубы?), якобы погубившей ценные документы, не произвели на Кузьму Ильича ни малейшего впечатления. Архивариус был далеко. Так далеко, что здесь, в настоящем, где еще оставалась способная видеть и слышать часть его существа, его могло потревожить лишь резкое изменение в той неподвижной, привычной, взятой в двойную рамку арочного окна картине, которую он созерцал беспрерывно. Но там, слава Богу, все выглядело так же, как в 1912 году. Или по крайней мере все оставалось на своих местах – и каменные, выстроенные еще платовскими старшинами угрюмые домики с плоскими крышами, поднимающиеся ступенями от Кавказской вдоль ухабистой Красной Горки, беспорядочно вымощенной булыжником; и венчающая эту Горку южная арка Атаманского сада, выло-

женная из ракушечника, потемневшая и осевшая вровень с оградой; и исполненная величия, хотя и обросшая травами, облепленная кустарником церковь Александра Невского, возвышающаяся над ротондами, смотровыми курганами, павильонами – и над всеми строениями Атаманского сада, где, должно быть, гуляли в весенние сумерки, под звуки Уланской мазурки, среди лип и каштанов, озаряемых вспышками пестрых салютов, книгоиздатель С. Е. Кутейников и фотограф Ж. М. де Ларсон...

– Нет-нет, – замечает рассеянно архивариус, – кто-то один из них. Второго положительно не существовало. Господина Кутейникова выдумал Жак Мишель для коммерческих целей... или господин Кутейников – Жака Мишеля. А впрочем, не знаю. Похоже, что не было ни того, ни другого. Напишите-ка еще разок в Люксембург княжне Черкесовой да не забудьте спросить: не ее ли батюшка давал объявления в газетах? И не она ли разыгрывала француза на Атаманской, 14?.. Как там писал вахмистр... хорошенькая маркитантка? Все может быть. Все изменчиво. Никакого извечного миропорядка нет. Лжет Кутейников...

Помню, при этих словах Кузьма Ильич поднялся со стула, отшатнулся от окна и, взглянув на меня тем злобно-веселым, торжествующим взглядом, каким он смотрел на злосчастных гонцов, прокричал:

– Торопитесь! Торопитесь! Княжне, должно быть, за девяносто! Смотрите, как бы не опередил вас проворный гонец от ангела Азраила! А ко мне он... вон он, вон он! – уже спешит! Спускается по Красной Горке...

II. Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия

Публичная лекция, читанная в зимней столице королевства Бутан во время муссонных дождей

Да благоденствует древняя Пунакха, ее окрестности и все царство Друк-Юла, пока стоят Гималаи!

Дамы и господа!

Великих тамбурмажоров было всего четверо. Принято считать, что все они итальянцы. Хотя один из них, Сальвадор Романо, граф Сальвадор Антонович, не только родился в России, но и, будучи ярким противником всяких вояжей, никогда не покидал ее пределов без чрезвычайной надобности. Его первый и, по всей вероятности, наиболее осведомленный биограф Степан Харузин настойчиво подчеркивает, что даже из своего излюбленного имения на юге России, в Малом Мишкине, где кроме его небольшой усадьбы, заброшенной дачи атамана Платова и дюжины накрепко вросших в пологий холм куреней, обретался еще выстроенный на его пожертвование, предусмотрительно обнесенный высокой стеной из пиленого ракушечника приют умалишенных – затейливой архитектуры дом, густо обросший с фасада дикой лозой и кучерявым плющом, он выезжал крайне редко. В Венеции, на родине Антонио Романо, своего «непоседливого батюшки» (так называл его сам Сальвадор), он побывал лишь однажды, незадолго до смерти, в 1900 году. Вернувшись домой – зачем-то окольным путем, на пароходе «Санкт-Петербург», ходившем в Россию через Атлантический океан с трехдневной остановкой в Гавре, – он заявил в коротком интервью корреспонденту «Южного телеграфа», что город, «возросший по прихоти деятельного разума на островах лагуны», произвел на него «удручающее впечатление своей назойливой красотой» и что если он и мечтает о чем-нибудь (корреспондент стал расспрашивать его, девяностошестилетнего старика, о мечтах!), так это о том, чтобы больше не ездить в Венецию... в Рим, в Петербург, в Стамбул... «И куда бы то ни было, сударь. Ибо склонность к путешествиям – порочна!» «После этих слов, – пишет удивленный корреспондент, – он, как бы салютуя, вдруг вскинул к полям цилиндра необычайной длины указательный палец, украшенный ослепительным солитером, нетерпеливо махнул перчаткой моложавому кучеру, и его легонький фаэтон, запряженный парой рыжих ганноверанов, быстро помчался по Михайловской площади Новочеркасска в сторону почтового тракта...»

О своей ненависти к путешествиям и путешественникам Сальвадор говорил почти во всех интервью, и с особенной пылкостью, с какой-то грозной настойчивостью, – «прямо-таки с апостольским жаром», замечает Харузин, – в тех, которые он давал летом 1898 года на Всемирном состязании тамбурмажоров в Фонтенбло. На этом поистине историческом состязании – самом продолжительном в XIX веке и по числу участников не превзойденном до нынешних дней (2300 тамбурмажоров из 49 государств, включая Заскар, Бутан и Мустанг, оспаривали первенство) – Сальвадор, как известно, последний раз в жизни облачился в расшитый золотой канителью, щедро украшенный искрящимися галунами мундир фельдфебеля музыкальной команды и взял в руки тамбурмажорский жезл. Французские газеты писали потом, что он вращал и подбрасывал его, маршируя в течение десяти часов на плацу с отрядом неумных барабанщиков и ротой неумолимых гренадеров, уже с нечеловеческой ловкостью – «с обезьяньей ловкостью», как выразился более определенно корреспондент бостонской спиритической газеты «Herald of Truth»: «Я не видел зрелища более восхитительного и ужасающего в своей непостижимости, – писал американец, – чем то, которое явила нам в Фонтенбло эта яростная и человеколюбивая горилла в позументах, воздвигнувшая где-то в сарматских степях России

сумасшедший дом для военных музыкантов. Полагаю, что именно в этом доме, среди свихнувшихся валторнистов, флейтистов и трубачей, Сальвадор и закончит свои дни, ибо искусство его уже давно достигло тех лучезарных высот, выше которых простирается сфера чистейшего идиотизма!»

Этот велеречивый корреспондент из Бостона был, кажется, единственным из всех газетчиков, кто сумел взять интервью у Сальвадора сразу же после его десятичасового выступления на плацу. Во всяком случае, французские репортеры писали потом в свое оправдание, что нужно было иметь такие плечи, как у «*le spirite de Boston*»,⁷ и обладать закалкой жителя Нового Света, чтобы, во-первых, протиснуться к Сальвадору сквозь толпу почитателей и частокол из двухметровых гренадеров, а во-вторых, стерпеть неучтивость маломишкинского камердинера – скуластого горца в малиновом казакине с огромными эполетами, сопровождавшего своего прославленного господина в поездках и на предыдущие состязания и позволявшего себе на этот раз производить при виде знакомых ему репортеров уже совершенно оскорбительные телодвижения и звуки. Преодолев на зависть субтильным французам эти «*les obstacles fasheux*»⁸ и оказавшись рядом с Сальвадором на маленьком островке, омываемом шумной, подвижной толпой, то и дело накатывавшейся ритмичными волнами на широкие спины и крепкие ягодицы невозмутимых гренадеров, американец задал великому тамбурмажору вопрос, с которым корреспонденты «*Herald of Truth*» обращались в тот год беспрестанно ко всем выдающимся людям, не исключая банкиров и знаменитых лореток: «*Do you believe in astral travels of spirit?*».⁹ Сальвадор, хорошо владевший английским – «не хуже, чем русским, тибетским и итальянским», утверждает Харузин, – сумел, очевидно, расслышать в разноязычном гомоне только словечко «*travels*». Но этого-то как раз и было достаточно, чтобы желчный и своенравный старик, каким предстает Сальвадор в сочинениях авторитетных биографов и всевозможных воспоминателей, – в 1910 году даже его необузданный горец, не отличавшийся многословием и страстью к сочинительству, выпустил в Санкт-Петербурге увесистый томик своих беспорядочных воспоминаний, озаглавленных несколько фамильярно для бывшего графского слуги: «Мой бешеный Сальвадор», – чтобы старик, тяжело переживавший всякий выезд из дома, да к тому же еще возбужденный всеобщим к нему вниманием, повергся в то болезненное состояние духа, которое Харузин, повинувшись правилам исследовательской деликатности, назвал «апостольским жаром».

– Что?! Что?! Путешествия?! – закричал Сальвадор по-английски, подняв над головою жезл. – Да будут прокляты путешествующие! И да сгинут они с лица земли! Ибо они внушают нам, что мир бесконечно разнообразен! Они, уязвленные жаждой странствий, побуждают нас верить в ничтожество духа и невозможность покоя!.. Я проклиная вас, путешествующие на верблюдах! на слонах! на ослах! на воздушных шарах!..

* * *

Боже мой, сколько лет я не был в Бутане! Сколько воды излилось с гималайских небес на царство Друк-Юла с тех пор, как я покинул его! Впрочем, здесь не многое изменилось. Подданные друк-гьялпо – да приумножатся дни его в этом мире! – по-прежнему носят пестрые кхо, перехваченные широкими поясами и отороченные парчой; так же улыбки и приветливы монахи в пурпурных тогах; неразговорчивы и медлительны горделивые воины гьялпо в шелковых длинных халатах, перетянутых накрест шарфами изумительной белизны! Все с тем же неумолкаемым рокотом течет по наклонной долине бурноводная Мачу; как и прежде

⁷ Бостонского спирита (фр.).

⁸ Огорчительные препятствия (фр.).

⁹ Верите ли вы в астральные путешествия духа? (англ.).

загадочны и торжественны каменные чхортены по ее берегам; и все так же трепещут на башнях дзонга молитвенные флаги во славу просветленного... О, Бутан, Бутан!..

Мачу еще не вышла из берегов: муссонные дожди только начались. Однако весь королевский двор, множество монахов, тримптон и дзонгда Пунакхи уже переселились в летнюю столицу. Уехал в Тхимпху и король. Очень жаль! Жаль, что его величество друк-гьялпо не соизволил – хотя бы еще на день! – задержаться в Пунакхе. Его присутствие на лекции наверняка привлекло бы в дзонг всю окрестную знать – влиятельных треба, и почтеннейших рамджамов. Накануне я пытался уговорить одного из королевских секретарей, чтобы он убедил монарха посетить лекцию. Но молодой вельможа, отлично говоривший по-русски, был непреклонен. «Мачу через несколько дней превратится в ревущий поток, – сказал он, – а дорогу размост не сегодня завтра. Я не могу допустить, милостивый государь, чтобы Его Величество король-дракон слушал здесь звуки ваших речей до окончания муссона, тогда как у него есть и более важные дела в Благословенной Крепости Веры...» Разумеется, я не стал высказывать королевскому секретарю своего неудовольствия, тем более что он тут же, без всякого перехода, но и без малейшей принужденности, как это умеют делать только бутанские придворные, чья обаятельность ничуть не уступает чудовищному высокомерию, сменил суровое выражение лица на самую теплую улыбку и вручил мне с почтительным полупоклоном долгожданный кашаг, скрепленный печатью Его Величества с изображением молнии и двух драконов, в котором говорилось, что мне, «ученому человеку с Запада», дозволяется изложить в дзонге Пунакха, «пока будут шуметь в долинах Друк-Юла большие дожди», свои размышления о любом предмете. На деревенского рамджамы, замещающего на время муссона тримптона зимней столицы, бумага произвела неотразимое впечатление. Старик долго охал и цокал языком, рассматривая ее, а затем объявил мне с чрезмерной торжественностью, что он предоставляет в мое распоряжение самую пышную залу – в южной части крепости. При этом он стал заверять меня, впадая в необычайное воодушевление, что в этой гигантской зале с оранжевыми потолками и целым лесом разноцветных колонн все способствует углубленному размышлению – и огромные статуи Будд, покрытые золотом, и яркие фрески, и тибетские вазы, и воспроизведенный сто восемь тысяч раз на вазах, колоннах и статуях текст священной мантры: «Ом мани падме хум» («Благословенно будь, сокровище лотоса»). «Я позабочусь, – сказал он, – чтобы ни одна душа не проникла в залу, пока вы там будете размышлять, досточтимый!» Мне стоило немалых усилий объяснить рамджаму, что я вовсе не намерен размышлять в одиночестве и что я вообще не намерен размышлять. В силу того, что в его тщательно выбритой и бугристой, как перезревший гранат, голове безнадежно отсутствовали некоторые понятия, а в моем тибетском – некоторые слова, я никак не мог преодолеть того тягостного и непростительного, хотя и отчасти вынужденного косноязычия, которое с каждой минутой утомляло меня все больше и больше и приводило в замешательство старого рамджамы, уже начинавшего сомневаться в моей учености. Мне не хватало на первый взгляд пустячка – слова «лекция» по-тибетски. Нет, конечно, латинские «lectio» – чтение и «lectito» – читать часто, усердно, внимательно – вполне поддаются буквальному переводу на сино-тибетские языки, как, впрочем, и «lector» – читатель, чтец. Но тибетского слова, которое обозначало бы *акт публичного*

выступления на какую-либо тему, я никак не мог отыскать в своей памяти. В конце концов, уже совершенно отчаявшись, я сказал рамджаму по-тибетски, наперед осознавая всю нелепость и неуклюжесть наугад построенной фразы: «Я буду произносить слова, которые нужно слушать множеством чутких ушей, исполненных пустотою усердия». К моему изумлению, рамджам просиял. «О да! О да!» – воскликнул он...

* * *

– Проклинаю и вас, – кричал Сальвадор истступленно, – вас, карабкающихся по горным склонам, подобно вячным животным! И вас, путешествующих на пароходах, в экспрессах и в экипажах! Я говорю вам: противны Единому ваши жалкие устремления к неведомому! И говорю вам: не отыщите вы неведомого во веки веков, куда бы ни перемещали вы свои непоседливые задницы и алчные глаза, опьяненные зрелищем форм!..

Приступ грозного и темного словоизвержения, писали потом газеты, длился не менее часа. Не менее часа вещал Сальвадор неистово о порочности путешествий. Но этим не ограничился. В течение двух недель, как утверждает парижская «Siccle», он разъезжал по Фонтенбло на «Штевере», купленном им еще по пути во Францию (горцу в малиновом казакине до того полюбилась самодвижущаяся карета, что он, по его же признанию в мемуарах, жестоко избил на публике графского кучера, когда тот в простоте душевной попытался занять его место за рулевым колесом), и повсюду, собирая толпы зевак и репортеров, поносил путешествия и путешественников.

Те из репортеров, которые знали кое-что об отце Сальвадора, прославившемся в начале XIX века именно благодаря своей страсти к путешествиям и блестящим географическим трудам, искренне удивлялись мрачной ненависти Сальвадора ко всякого рода странствиям – ненависти, доходившей порою, как это было в Фонтенбло, до пароксизмов безумия. Впрочем, некоторые журналисты, более осведомленные или менее поверхностные в суждениях, высказывали предположение, что Сальвадор на самом деле ненавидел вовсе не путешествия, а как раз-таки своего родителя, Антонио Умберто Романо, «ученого венецианца», как пишет о нем Харузин, военного инженера, «члена многих академий», состоявшего восемь лет в русской службе – сначала в свите императора Павла Петровича, а затем – Александра Павловича. Последний произвел его в чин подполковника Генерального штаба незадолго до того, как Антонио (накануне Аустерлица) неожиданно исчез, чтобы затем объявиться как ни в чем не бывало в штабе Наполеона. Харузин со свойственной ему прямою и пылкой верой в непогрешимость выдающихся личностей решительно отвергает «досужие домыслы казенных борзописцев» (имеются в виду статьи в австрийской прессе и небольшая заметка в «Санкт-Петербургских ведомостях») о том, что отец Сальвадора захватил с собою при этом кое-какие штабные бумаги, кое-какие чертежи, а главное, составленные им же оригинальные проекты полевых и долговременных фортификаций русской армии.

По заверению Харузина, основанному не столько на фактах, сколько на его собственном запальчивом благонравии, Антонио перешел к Наполеону «с пустыми руками» и исключительно потому, что «служба французской короне давала в то время больше возможности путешествовать – не только по странам Христианского мира, но и по отдаленным и отрезанным от европейской цивилизации, не посвященным в новейшие достижения наук, хотя и озаренным в достатке светом учения царевича Гаутамы, гималайским государствам», куда Антонио, присягнув на верность Бонапарту, тотчас же и отправился в качестве секретного агента французской империи с целью исследовать подробно высокогорные княжества Заскар и Мустанг и по возможности проникнуть в королевство Бутан.

В Бутане Антонио неожиданно попался, хотя и продумал он, как ему представлялось, все до мелочей. Выдавая себя за паломника, он прятал в посохе термометр (по ночам, запалив костер, поднимавшийся ровным, почти неподвижным столбом к гималайским, белесым от звезд небесам, «ученый венецианец» опускал прибор в кипяток, определяя таким способом высоту над уровнем моря караванных дорог и пограничных перевалов), в молитвенной мельнице хранил записные книжки, в ритуальных сосудах – чернила и перья, а под просторной тибетской чубой – чертежную готовальню и шутицер. Разоблачил агента один наблюдательный странник, сосчитавший приметливым глазом количество костяшек на молитвенных четках Антонио. Их было сто вместо ста восьми. О том, что это число священо в буддийском мире, Антонио, вероятно, не подозревал, как не подозревал он и того, что странник, перед которым он начал было ломать комедию, изображая внезапный приступ удушья и надеясь в удобный момент (дело происходило в заброшенном горном бунгало близ бутанско-сиккимской границы) исправить свою оплошность при помощи шутицера, был кавалером ордена Подвязки, офицером английской Ост-Индской компании, выполнявшим, в свою очередь, секретные поручения короля Георга, который не меньше, а может быть, даже и больше, чем Наполеон, желал иметь подробные карты маленьких и непростительно беззаботных монархий, счастливо затерявшихся в солнечном поднебесье среди гималайских вершин.

Между двумя агентами после короткого единоборства, в котором верх одержал англичанин, – из-под непальских одежд бритоголового странника, обвешанного амулетами, вдруг выглянул к изумлению Антонио, чей устаревший за время странствий дульнозарядный шутицер мгновенно был выбит из рук точным ударом ноги, граненый ствол револьвера Коллера, – произошел, по-видимому, довольно бурный и откровенный разговор. Состоялась, вероятно, в горном бунгало и дружеская, если не сказать государственная, сделка. Иначе как объяснить тот факт, что обширные сведения о маленьких, прозябавших в блаженной беспечности королевствах Антонио доставил, минуя штаб Наполеона, прямо в Лондон – одному из тайных королевских комиссаров по делам Индии, который, между прочим, отрекомендовал венецианца на аудиенции у Георга III как человека мужественного, ученого и вместе с тем преданного всем сердцем интересам британской короны.

Произведенный в скором времени в чин инженер-полковника королевских войск, Антонио вновь отправился путешествовать, на сей раз по диковинным, разнообразно цветущим, исполненным всяческих колдунов и идолов землям, коими Англия уже владела и коими только намеревалась завладеть при помощи дерзкого флота, бывалых карабинеров, вкрадчивых дипломатов и неутомимых агентов. Где только не побывал Антонио Умберто Романо! И в тропиках Южной Америки, и в Новой Зеландии, и в Австралии, и на бесчисленных островах трех океанов, и, конечно же, в Африке.

Но вернемся, дамы и господа, к России.

Российская корона, как и французская с английской, поощряла по мере сил своих склонность Антонио к перемене мест. «За восемь лет безупречной службы нашему Отечеству, – пишет Харузин, – отец Сальвадора и двух месяцев кряду не прожил в Петербурге. Подвергая себя опасностям, часто рискуя жизнью, он много и яростно путешествовал – по европейской Турции, Греции, Албании, Далмации, Истрии, Польше, Германии, особенно же – по России, в которой проехал 30 000 верст, исполняя различные поручения русского правительства».

И вот благодаря одному из таких поручений (чтобы его измыслить для неутомимого венецианца, самодержцу Александру пришлось долго в унылый послеобеденный час водить по меркаторской карте империи увесистой лупой на длинной самшитовой ручке, вздувая ею то устье Днепра, то зачем-то заливы Карского моря и даже – совсем уж без мысли, а только ради забавы – острые зубчики фьордов пустынной Новой Земли) Антонио оказался на юге России, в Малом Мишкине, на даче атамана Матвея Платова, где и был зачат летом 1803 года, все –

«в гувернантской комнатке с круглым окошком», уточняет Харузин, – снискавший всемирную славу российскому тамбурмажорскому искусству Сальвадор Романо.

Отправился же Антонио на юг России с целью «защитить, – как говорилось в рескрипте на имя Платова, – путем инженерных работ, как то: наведение каналов, возведение дамб, устройство гидравлических систем и проч., столицу Области войска Донского Черкасск от весенних и летних разлитий Дона, кои затопляют ежегодно сей воздвигнутый невежественными пращурами на пологом острове город по окна, а в иные лета и по самые крыши домов, похищая тем самым множество жизней любезных Нашему сердцу казаков». Поручение это, надо сказать, было не то чтобы совершенно бессмысленным – оно было до крайности лукавым, ибо накануне Александр одобрил проект переноса казачьей столицы на новое место, представленный атаманом Платовым, который, как пишет один малоросский историк, «страх як мріяв стати фундатором нового граду, та ще такого, котрий затьмарив би аж Санкт-Петербург пишністю будівель та чудовною геометрі(ю вулиць)». ¹⁰ Так или иначе, Антонио, приехавший в Черкасск осенью 1802 года и ничего не знавший ни о проекте Платова, ни о страстных его мечтах, рьяно взялся за дело. Платов наблюдал за ним с насмешливым любопытством. Ожидая со дня на день высочайшего указа о возведении на самом величественном холме южнорусских степей, в пяти верстах от Малого Мишкина, Нового Черкасска, атаман, разумеется, не оказывал венецианцу ни малейшего содействия, но и не мешал ему выполнять поручение Государя. И только уже в начале лета, когда Антонио, затратив огромные усилия, произвел-таки наконец все подготовительные работы, то есть объездил в распутицу и непогоду донские озера и гирла, назначил места для строительства дамб и плотин и умело разметил пути каналов, усеяв весь город колышками, Платов вызвал его в атаманский дворец и в торжественной обстановке, восседая с насекою и перначом под войсковыми знаменами среди разодетых в парчу и бархат старшин (оба, и розовощекий безусый император, и благородно седеющий усатый атаман, конечно, созорничали, когда за ужином в Петергофе задумали смеха ради этот явно неделикатный и несколько театральный финал), объявил, что 100 000 рублей серебром, отпущенных казною на инженерные работы, издержаны без остатку третьего дня в Азове, на покупку племенных жеребцов для станичных конезаводов, без процветания коих, сказал атаман сурово, немислимы мощь и проворство войска Донского. Выслушав это, Антонио, человек по природе своей необидчивый и умеющий применяться к любым обстоятельствам, неожиданно для себя вспылал. Не думая о последствиях, он надерзил атаману; в сердцах даже выдернул из петлицы свою инженерскую шпажку и, разумеется, тут же был взят под стражу – но отправлен, к своему изумлению, не в тюремный подвал Воскресенского собора, где сиживал Стенька, а в Малый Мишкин, на атаманскую дачу, под домашний арест – до особых распоряжений из Петербурга.

Тут-то, на даче, Антонио и познакомился с будущей матерью Сальвадора, гувернанткой дочери атамана Платова француженкой Эрнестиной Бессан... бесовкой... Эрнестинкой Бессан-бесовкой называл ее в шутку Платов, поглядывая не без волнения на ее свежие щеки в мелких, табачного цвета веснушках, рыжие кудри и гибкую спинку... Да, господа бутанцы! мать российского тамбурмажора была женщиной необычайно обворожительной и – что бы там ни писал о ней благодетель Харузин, что бы он там ни мямлил в смущении о «маленьких шалостях» Эрнестинки, прибегая на каждом шагу то к застенчивому многоточию, то к жеманному эвфемизму, – эксцентричной и сладострастной!..

¹⁰ Страстно мечтал стать основателем нового города, да притом такого, который затмил бы аж Санкт-Петербург пышностью зданий и блистательной геометрией улиц (укр.).

* * *

Бутанцы – удивительно деликатный народ! До чего же внимательно, с каким почтительным выражением лиц они слушают лекцию! Всякий, кто хотя бы однажды поднимался на кафедру (здесь, конечно, кафедры нет: я, как и все бутанцы, сижу на циновке и лишь иногда встаю и прохаживаюсь, заложив руки за спину, между двумя колоннами, одна голубая, другая зеленая), поймет мое восхищение этой аудиторией, ибо знает, сколь важна и желанна для лектора атмосфера благожелательности. Благожелательность же бутанцев – безгранична! Они даже не потребовали от меня – хотя и имели на то все основания, – чтобы я читал на тибетском или на местном дзонг-кхе – «языке крепостей». Признаться, это было бы для меня весьма затруднительно. Гораздо труднее, нежели втолковать старику рамджаму, в чем состоит то существенное различие между лекцией и медитацией, которого он, кажется, так и не уловил, ибо вот он теперь сидит в укромном местечке за широкой пилястрой и беспрестанно вращает молитвенную мельницу, погруженный в свои раздумья... Зала, конечно, создана для медитации. Что и говорить! Все в ней дышит торжественным покоем. И хотя здесь ходит свободно всяческая живность – вдруг прошагает, высоко поднимая лапы и что-то старательно высматривая по сторонам, невозмутимый фазан или пробежит, нагнувшись, догоняя мелкую ящерицу, курица – величавый покой Благочинной Палаты Раздумий (так называется в переводе с тибетского эта зала) ничуть не нарушается.

Рамджам, вероятно, собрал здесь всех, кто остался в дзонге на время муссона. Даже воины гьялпо сообразовали явиться на лекцию, хотя они и большие гордецы; многие из них хорошо образованны – иные читают в оригинале не только английских поэтов, но и немецких мистиков: я видел у одного офицера томик сочинений Майстера Экхарта, изданный в Мюнхене. Однако по-русски они не знают ни единого слова. Увы, ни единого, как и все в этой славной аудитории. Впрочем, вон тот монашек, вполне сумасшедший с виду, со сморщенным светло-коричневым личиком и неким подобием бакенбардов – пучочки жестких волосьев мышиного цвета топорщатся странным образом из-под самых мочек ушей, – знает, Бог весть откуда, одно русское слово: «барабан».

Перед самым началом лекции рамджам зачем-то подвел ко мне этого неопрятного, отвратительно кривляющегося (кажется, в силу нервного расстройства, именуемого в Европе «пляской святого Витта») монашка и, указав на меня кивком головы, стал ему объяснять, что я из огромной страны – рамджам сказал «с необъятного острова в Белом океане к северу от Лхасы» – и что я-де умею говорить на диковинном языке, одни звуки которого способствуют размышлению. Тут-то монашек и выговорил старательно, удивив и меня, и рамджаму:

– Ба-ра-бан!

Напрасно я пытался выяснить у него, знает ли он еще какие-нибудь слова по-русски. Монашек только улыбался в ответ да высовывал язык в знак приветствия и дружеского расположения. Единственное, что мне удалось от него добиться, так это то, что он произнес с таким же старанием слово «барабан» на тибетском:

– Шнабук! – сказал он. И тут же удалился, очень довольный нашей беседой.

Однако на этом наше общение с ним не закончилось. Теперь, на лекции, он то подмигивает мне, то, как бы подбадривая меня, одобрительно кивает, возбужденно жестикулирует и вообще ведет себя так, будто он хорошо понимает «диковинный язык» «необъятного острова в Белом океане». А когда мне случилось по ходу изложения произнести слово «барабанщики» в родительном падеже (я сказал «...с отрядом неумных барабанщиков и ротой неумомимых гренадеров...»), монашек и совсем уж раздухарился. Он вскочил с места и, безобразно извиваясь всем своим непослушным телом, размахивая посохом, закричал по-тибетски:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.